

ДУНЯ, ИЛИ ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ

У Дуня было большое хозяйство: кошка, цветы и любовник. Хозяйство требовало к себе постоянного внимания. Цветы норовили засохнуть, кошка в приступе весеннего бешенства бегала по стенам и рвала обои, любовник страдал муками совести и норовил вернуться к жене.

Дуня уговаривала любовника, потчевала кошку таблетками и поливала цветы слезами, отчего они хирели пуще прежнего и нуждались в удвоенной заботе. Бедная Дуня выбивалась из сил. Любовник, глядя в ее невеселое лицо, бил себя кулаком в тощую грудь, кричал, что он подлец и испортил ей жизнь и порывался к двери. Кошка, животное тонкое и чувствительное, взвивалась кверху на волне общей нервозности. А взвившись, согласно законам физики, съезжала вниз и, противясь этим законам, оставляла глубокие вертикальные борозды, заканчивающиеся веселыми завитушками свежих обоев. Любовник в очередной раз всхлипнул. Дуня привычно потянулась к шкафчику за валерьянкой для любовника и таблетками для кошки, главное — не перепутать. Тут-то ее и накрыло.

Она развернулась, усмехнулась, посмотрела в одинаково открытые рты кошки и любимого. Показала им дулю. Прошла мимо в прихожую, открыла дверь. Из двери потянуло сквозняком, любовник поежился, кошка распушилась.

— Всем — свободу! — провозгласила Дуня тоном царственной особы, с высоты своего величия дарующей жизнь обреченным.

Кошка поежилась, любовник распушился:

— Ду-уня! — укоризненным тоном сказал он и еще головой покачал: ай-я-йй!

Но Дуню было уже не остановить. Она схватила его за шиворот той рукой, что раньше гладила по голове, и потащила к выходу.

— Свободу! — сказала она и хотела еще отвесить пинка, но это было слишком картинно, и Дуня не стала.

— Ну?! — обернулась она к кошке. Та поджала хвост, Дуня размахнулась для произведенного ранее жеста. Кошка, не дожидаясь продолжения, рванула в открытую дверь, загибая когтями по паркету.

— Вот так! — сказала Дуня, развернулась и неумолимо вразвалку направилась к окну.

— Ага, — сказала она и жестом ядротолкателя подняла горшок к плечу. — Тебя первым.

И распахнула окно. Весенний ветер мазнул ее по разгоряченным щекам, запечатал решительно перекошенный рот.

— Брр, — вздрогнула она и покосилась на трусливо сжавшуюся герань. — Нет-нет, не бойся.

Поставила горшок на подоконник. Не стала закрывать ходуном ходившую от ветра раму. Достала из антресолей серую разношенную сумку. Аккуратно составила туда цветы пирамидой, всунула ноги в коричневые потертые туфли с хлястиками. Обернулась и посмотрела на свое разоренное гнездо. Увиденным осталась довольна. Заурчала под нос песенку и вышла в подъезд, приволакивая тяжелую сумку.

Кошка и любовник потерянно стояли на площадке и с одинаковой надеждой потянулись к Дуне на звук открывающейся двери,

— Аха-ха! — басом сказала она и прошла мимо. Зазвенела растянутая пружина подъездной двери, и Дуня исчезла. Кошка явственно пожалела плечами, виновато оглянулась на человека и шмыгнула вниз под лестницу, туда, где была заманчивая дырка в подвал и откуда неслись будоражащие кошачью душу запахи и звуки. Любовник оглянулся на закрытую дверь, за которой его так сладко кормили и вкусно любили, вжал голову в плечи и пошел туда, где его давно уже ничего не манило и не будоражило.

Спустя некоторое время Дуня вышла из городской теплицы, помахивая сложенной вдвое пустой сумкой, и пошла по улице, по привычке ускоряясь. Потом задумалась, остановилась и пошла совсем медленно, лоя глазами непричесанные кудри облаков, а губами непокорные уста ветра. Это было несказанно приятно. Что-то мешало. Дуня задумалась, покомкала в руке волосистую ручку сумки и выкинула ее, не жалея, в первую урну. Сорвала тут же на ходу тонкую, чуть зазеленевшую ветку, размяла нетерпеливыми пальцами и припала ноздрями. Острый терпкий запах счастья резанул сердце.

Дуня шла и смеялась, наверно, оттого, что немного сошла с ума. Голова кружилась, руки болтались в плечевых суставах как будто сами по себе, ноги гарцевали, выплясывая. Но понемногу веселье ее начало сходиться на нет, плечи опускались, опускались и, наверно, совсем бы сомкнулись, если бы позволяла анатомия. Ноги начали цепляться за камушки, друг за друга, словно совсем отказываясь нести Дуню. Мысли, сбившиеся с пути, поднатужились и пытались настроиться на привычно-горемычную волну. Дуня в отчаянии встряхнула головой:

«Нет-нет, не может быть! Если закрывается одна дверь... — тут она явственно увидела свою закрывшуюся дверь квартиры, — то обязательно должна открыться другая!»

Тут Дуня лихо закрутила головой, словно прямо вот здесь, сейчас, в этом проходном каменном дворе должна ей открыться какая-то таинственная дверь.

И дверь открылась. Распахнулась обшарпанная красная подъездная дверь, и оттуда вылетела огромная собачица, по типу Баскервильской, только желтой масти и с непередаваемо лукавым выражением морды. Луково-лукавая собака, определила для себя Дуня. По могучей спине собачины небрежно, как шарф на плече денди, свисал короткий поводок. Следом за псиной рассыпались по подъезду шаги, коротко вякнула ко всему привычная дверь, и на крыльцо выкатился мужчина с багрово-взопревшим лицом, легким пухом светлых взвившихся волос: надо лбом и в расхристанном на груди спортивном, крайне неуважаемом Дуней видом одежды, костюме.

— Сто-о-ой! Не сме-ей! — командно надсадно закричал мужчина собачине, как будто она что-то смела.

Собака усмехнулась на него, повернулась к Дуне, и не успела Дуня умиленно собачинке улыбнуться, поднялась на задние лапы и легонько толкнула передними. Дуню никогда не толкал поднятым отвалом бульдозер, но ощущения были, вероятно, схожие.

Дуня успела глубоко, сопранисто охнуть и тут же глубоко осела в лужу. Грязная вода, вскипев веселыми мелкими пузырьками, устремилась в туфли, юбка стремительно, как кусок сахара в чае, темнела все выше и выше, подбираясь к подмышкам, докуда она, собственно, и задралась.

И хотя мужчина стремительно бросился к ней на помощь и одной левой выдернул ее, поставив на ноги, положение это не спасло. Капало с локтей, текло с мокрой непристойной тряпки, бывшей недавно юбкой, светлой новой юбкой. Дуня переступала с ноги на ногу, и в туфлях хлюпало, чвякало, и стелька поднималась вместе с пяткой, а сама туфля пудово падала вниз. Дуня испуганно опускала пятку обратно, и через край выдавливалась порция жижи. Дуня сама себя представляла в этот момент Бастиндой с рисунка Владимирского, где Элли облила ее водой из ведра. И вот так же, как Бастинда, Дуня крючилась, корчилась и корежилась в муках. Собачина косилась на нее луковым глазом и ухмылялась во всю ширь морды.

— Господи-господи, — закричал тут мужчина то, что положено кричать в таких случаях. — Простите нас великодушно. Не удержал я этого обормота.

Дуне было не до прощений и не до великосветских расшаркиваний, но вежливость, ввевшаяся в кровь, заставила ее криво улыбнуться и просипеть:

— Ничего страшного.

После чего она так расстроилась, что была вынуждена грязной рукой прочертить две кривые черты под глазами и усы под носом.левой рукой, попробовав ликвидировать нарисованное, Дуня изобразила два круга, из центра которых ошалело тарасились ее глаза, и одним обвела рот, наподобие клоуна в цирке. Собака, потеряв интерес к ее экзерсисам и далее не покушаясь на нее, отошла в сторону по своим собачьим делам.

— Как я домой сейчас пойду? — взвыла Дуня воспитанно и тихо.

— Далеко? — озабоченно спросил мужчина, проводив взглядом проколовхавшийся мимо бесконечный круп животины. — Ууу! Так бы и врезал мерзавцу! — взмахнул он рукой и тут же действительно врезал красным кулаком по желтой заднице. Пес даже не обернулся, продолжив колыхаться по направлению к фонарному столбу.

Дунул ветер, прижимая к Дуне плотнее мокрую гадкую юбку и холодом снизу вверх обдав сырые грязные колготки.

— Далеко — застучала зубами Дуня, пытаясь затолкать липкие руки в карманы, кулаки внезапно стали огромными и в карманы никак не лезли, только выворачивали наружу подкладку.

— Нельзя вам далеко, — покачал головой мужчина, светлый пух летал и бился у него над головой и на груди. Дуня стыдливо заотворачивалась. Мужчина сказал:

— Пардон, — и, придавив шерсть рукой, застегнулся доверху. — Пойдемте ко мне, обсохнете, почиститесь.

— Не, не пойду, — с ходу заупрямилась Дуня. — Вынесите мне платок, пожалуйста, я здесь в сторонке почишусь и домой потихоньку.

— Платок? — с сомнением посмотрел на нее мужчина. Как-то профессионально посмотрел, как ветер дунул, снизу вверх. — Возьмите, нате, — достал вчетверо сложенный, запыленный на стигах, полновесный мужской платок.

Дуня цепко схватилась за платок как за соломинку, быстро развернула его, наклонилась и задумалась. К какому месту платок ни прикладывай, ничего не поможет. Тут только махровая простыня спасет, да и то... Дуня выпрямилась. Сморгнулась в платок и возвратила его владельцу.

— Спасибо, — кивнула, как носом нырнула, она.

— Пожалуйста, — отзеркалил он.

Потом выпрямился, сомкнул каблуки, повел рукой в сторону двери и поклонился уже, как положено, четко отвесив носом вертикаль, не шевельнув гвардейским разворотом плеч:

— Пр-рошу!

Дуня робко смотрела на эту дверь, пытаясь будто разглядеть, что ее ждет за ней. Мужчина аккуратно принял ее под локоток и, чуть отстранившись (с локтя капало), повел ее на крыльцо.

— Чип! — гаркнул он вполоборота.

Луковый пес поднял голову, оторвавшись от прочтения собачьих новостей. Ветер раздул ему шерсть на физиономии в обе стороны, так что стало казаться, что пес не то чтобы усмехается, а просто-таки откровенно и безудержно лыбится, глядя на них.

— Чиполетто, домой!

Луковый пес с луковым именем склонил голову, скрыв усмешку, и потрусил в подъезд.

Дуня поднималась по лестнице следом за спортивным мужчиной, как можно ближе к нему, чтоб спрятаться в случае, если ее увидят соседи, и как можно дальше от него, вдруг соседи увидят. Так и мотылялась, отводя взгляд от бойко двигающихся туда-сюда складок чуть пониже его спины. А сзади ее подпирало горячее дыхание теперь уже не безымянной собаки. Пес вздыхал, охал, пыхтел на каждой ступеньке. И от каждого вздоха становилось жарко там, куда долетал раскаленный воздух из его пасти.

Складки повело чуть вбок, мужчина залез в карман, звякнул ключами.

— Пр-рошу, — еще раз застыл он на пороге своего жилища. Дуня остановилась с бьющимся сердцем, поцеплялась взглядом за дверь, обычная металлическая, под дерево, с глазком и галочкой-ручкой, и была сметена подошедшей сзади лавиной.

Желтая лавина впечатала Дуню в квартиру и заполнила собой прихожую. Мужчина, сделав гигантский прыжок, спас свой безукоризненно чистый спортивный костюм от Дуниных неожиданных объятий. Поэтому Дуня, закрутилась волчком посреди коридора, хватаясь и роняя все по пути, и, в конце концов, не удержавшись в скользких от грязи туфлях, растянулась от сих до сих.

— Боже, — сказал мужчина. Вероятно, он был несколько религиозен.

Собака, наклонившись, заглянула ей в лицо и вдруг лизнула неожиданно мягким языком, стирая все следы Дуниных художеств, и заодно две слезинки, вознамерившиеся выкатиться из глаз.

— Руку! — мужчина с натугой поднял ее еще раз, его лицо опять побагровело от усилия. — Стойте, не падайте больше. Я вам полотенце принесу.

— Не буду больше, — покаянно пробормотала Дуня.

Мужчина пошел в комнату, а Дуня украдкой заглядывалась. Квартира была приличной, на логово маньяка не тянула. Хотя, Дуня пожалала плечами, что она знала о маньяках и их логовах? Ровные доски темного модного пола, светло-жемчужные стены, гляцевый идеальный потолок, нарочито низкий комод, ничего лишнего, цветы в вазе. Цветы? Тут Дуня впервые подумала, что у этого спортивного багрово-пухового мужчины вполне себе может быть жена. Жена? Конечно, жена. Вот сейчас выйдет из комнаты напротив и как гаркнет: кого это ты сюда притащил???

Собака Чиполетто, дисциплинированно сидевшая на специальном резиновом коврике, покивала, да, конечно, выйдет и обязательно, обязательно гаркнет.

Тут Дуня заметила отпечатавшуюся пятерню на белой, прямо-таки снежной, поверхности комода, продольные грязные полосы по всей длине коридорного пола цвета венге (вспомнила Дуня с перепугу слово), словно кто-то безумный катался здесь с разбегу по ледянке. И (о, ужас!) посреди жемчужной стены, аккуратно напротив Дуниной юбки, большое отштампованное пятно, как сердце с размытыми краями. Дуня машинально посмотрела себе через плечо и чуть ниже и зарделась маковым цветом. Она переступила и закрыла собой позорное пятно, одновремен-

но увидев, что сама-то она стояла отнюдь не на специальном коврикe, и с туфель порядочно натекло гадкой жижи.

Острый, как лист бумаги, приступ жалости к себе резанул горло, Дуня сдавленно, и от этого особенно громко, всхлипнула. В тот же миг в дверях комнаты появился наш герой. В майке по-домашнему, из-под которой во все стороны пробивался белый пух, подсвеченный багрянцем. В протянутых руках он держалжнейшее розово-облачное полотенце.

«Мамочки, уже раздевается», — подумала Дуня. Она отступила к дверям и, бормоча и не поворачиваясь к нему спиной, зашарила по двери в поисках ручки:

— Ну, я пойду, спасибо, всего доброго, до свиданья.

— Нет, не пойдете! — решительно сказал пухлявый. Неожиданно легко подскочил и начал отцеплять ее пальцы от нашедшейся дверной ручки. — Заболеете, это я вам как доктор говорю!

После слова «доктор» Дуня резко обмякла и покорно разлепила пальцы, присоединив к учиненному ею разгрому отпечатки пятерни на полированной поверхности ручки.

— В ванну! — мужчина животом подтолкнул ее, обмякшую, к очередной на сегодня двери, основательно-тяжелой, вероятно дубовой. — Мыться-переодеваться! — и пихнул животом еще раз.

Дуня влетела в полутемное помещение, дверь за ней закрылась. Мгновенно развернулась и прижала кулаки к груди, в боксерской, как она думала, стойке.

«Запер! В чулане! В темноте!»

Тут вспыхнул свет.

«Нет, в ванной! Чик-чик, и на кусочки, в ванной очень удобно», — пронеслось у Дуни, воспитанной современными СМИ.

Тут открылась дверь, и прямо на Дунины, вытянутые в боксерской стойке, руки легло полотенце и светло-серый спортивный костюм, а в Дунину, распахнутую всяким ужасам, душу — приказание:

— Закрывайтесь!

Закрутив на двери трясущимися пальцами задвижку и пустив успокоительно шумящую воду, Дуня хотела расслабленно выдохнуть и не смогла: стучали зубы, просто уже от холода, настывшая одежда мерзко липла к телу. Дуня ее немедленно содрала и забралась в ванну, неправдоподобно огромную и белую. Дуня отгородилась от всего мира откатной прозрачной ширмой и струями горячей воды. За стеной уютно заскворчала сковорода. Дуню отпустило, она даже помыла себе голову, напенив шапку из незнакомого флакона. Пена благоухала, потрескивали и лопались пузырьки, Дуня замурлыкала. С удовольствием вытерлась. Брезгливо обойдя грязную кучку тряпья на полу, оделась в белую, с запахом хорошего мужского одеколona, футболку и так же благодушно, как лучше ничего не носила, серый спортивный костюм с полосочками по бокам. Подтянув донельзя шнуры на поясе и закатав по локоть рукава (Дуня была миниатюрна), протерла запотевшее зеркало, взглянула, осталась довольна. Расчесала руками на две стороны темные волосы, улыбнулась, вышла и уткнулась грудью в тапочки. Тапочки держал в зубах гигант Чиполетто, перегородив собой прихожую. Морда его смеялась, хвост молотил по полу.

— Обувайтесь! — услышала она крик из кухни, где все еще бормотала, пришепetyвая, сковорода. — И идите сюда.

Дуня взяла немного замуслявленные тапочки.

— Спасибо, Чип, — погладила пса по голове. Тот прищурил веселые глаза, встал и потащился мимо Дуни на кухню. А так как проход был достаточно узким, повлек за собой и Дуню. Та пожала плечами и покорилась.

В кухне пахло блинами и подпрыгивал чайник. Сам хозяин стоял у плиты и подкидывал, переворачивая, как Дуня видела только в кино, блинные кругляши. Хоп, хоп, один блин не удался и, не глядя, полетел в угол, в пасть Чипу. Тот незаметно сглотнул.

— Слаженно работаете, — похвалила Дуня, не удержавшись.

Пес усмехнулся. Хозяин обернулся:

— Садитесь, сейчас чай будем пить. Вам обязательно надо. Хорошо вам костюм подошел, а то я переживал. Я вообще-то не ношу спортивных.

Сам он уже переоделся. Был в халате, но не на голую грудь и бесстыдные ноги, а степенно, на тонкую белую рубашку и темные брюки со стрелками.

Дуня приткнулась на край кухонного дивана. Понеслись, расставляясь, синие с узорами кружки, вазочки с вареньем, ложечки, салфетки, все, чем радушный хозяин окружает дорогого гостя. И встала посреди стола золотистая горка свежееиспеченных блинов, на верхнем из которых еще оплывал, подтаивая, кусочек масла. Была подвинута Дуне чашка ароматно парящего, терпкого даже на вид, красного чая. Хозяин смахнул со стола невидимые глазом крошки и сел напротив, чуть наискосок. Дуня робко потупилась. Старательно подула в кружку. Мужчина тоже подул. Дуня позвякала ложкой. Мужчина сосредоточенно покрутил в чашке и отложил. Дуня примостила ложку на край блюда, откуда она немедленно и свалилась, оставив мокрое пятно на скатерти. Мужчина передал салфетку. Дуня зажала ее в кулаке. Чип пристроился возле стола третьим. Поддельно равнодушная морда возвышалась над столом, и только еле заметно шевелился влажный нос, выдавая его.

— Давайте же знакомиться, — произнес мужчина несколько высокопарно. — Иннокентий Викентьич.

— Ду...дуня, — заикнулась Дуня, неловко кивнув.

— Дудоня? — не понял мужчина, повернув к ней большое красное ухо.

— ТеньТенич? — удивилась Дуня, вздернув от внимательности нос.

Чип гыкнул и полез под стол, поднимая его на своей могучей спине. Чашки, ложки, блины поехали вбок.

— Чи-ип! — закричали двое, пытаясь выровнять стол, подхватывая чашки, ложки и сталкиваясь руками. Варенье перекатывалось в блюдец с краю на край, блины кренились угрожающе. — Чи-ип!!!

Чип лег. Стол осел, волнение прекратилось.

— Ну и ну! Вот так да! — и прочие, ничего не значащие фразы разрядили обстановку, следом пришел смех, немного нервный, но вполне объяснимый и объединяющий. Смеялись чуть больше, чем следовало, и все повторяли: «А тут он... Ничего себе... Ахахаха...»

— Уважаемая Дудоня, ахахаха... А мне послышалось, аахахаха, — вытирая уже от слез глаза и, конечно же, вполне естественно пожимая Дуне плоское запястье.

— А я думаю, ТеньТенич — ничего себе имечко! — уже не стесняясь, смеялась новоиспеченная Дудоня, конечно же, вполне естественно не отнимая руку, а, наоборот даже себе, немного фамиллярно постукивая его свободной рукой по шелковому лацкану халата. И очень даже прочитываемым следующим движением было перехватить эту свободную руку и подтянуть к себе поближе смеющуюся, разгоряченную, горячеглазую Дуню. И поцеловать. И прижать к бющемуся под халатом сердцу.

В свете белой луны, на синей шелковой простыне, когда все так призрачно и тянет на откровения, ТеньТенич, прижав тяжелой дланью к своей мохнатой груди Дунину ладошку, говорил, глядя в потолок. А Дуня не сводила влюбленных глаз с его шевелящихся губ и время от времени, приподнявшись на локте, целовала их в самый краешек.

— Я холостяк, Дуня. Старый холостяк.

— Холостяк, — восхищалась Дуня, нимало не вслушиваясь в текст.

— Я профессор, Дуня.

— Профессор!

— Где мне было, когда знакомиться с женщинами.

— С женщинами он, ути моя!

— Работа у меня такая, гинеколог я.

— Бедный, — неспособная в данный момент к критическому анализу, Дуня готова была слушать вечно, но тут Тень Тенич заснул.

Утром, когда чистоплотная Дуня пошла чистить зубы, оказалось, что Дунину одежду и думать забыли сушить и чистить, так она и лежала на полу ванной.

— Оставайся, — горячо предложил Иннокентий все еще Викентьич. Сейчас, при свете солнца, Дуня никак не могла перейти на ты.

— Не могу, извините, мне на работу надо.

Чип, вздохнув, опустил голову Дуне на колени.

В конце концов Дуню облачили опять в спортивный костюм профессора. И Дуня клятвенно пообещала принести костюм вечером обратно. Ну и, конечно же, остаться, смущаясь, кивнула она.

— Я буду ждать, — еще более пылко заверил Иннокентий Викентьич и подарил пышный поцелуй. Чип толкнул Дуню носом.

Горячие волны любви захлестывали Дуню и несли вниз по лестнице. Любовный жар продолжал пылать на улице и мурашками перекатывался по коже.

Дуня, не видя ни машин, ни людей, практически без сознания дошла до дома, удивленно, с трудом вспоминая, воззрилась на сидящую под дверью кошку. Мельком подумала, что был тут еще кто-то, и тут же забыла. Кошку впустила. Кошка понюхала серую брючину костюма и фыркнула. Дуня, потянув за молнию, понюхала ворот. Чихнула, но запаха почему-то не почувствовала.

Томление пекло ее, она прошла мимо пластиковой миски, возле которой дежурила недоуменная кошка. Хозяйка не обращала на нее никакого внимания. Кошка потянула было когти к обоям, но, словно обжегшись, тут же подобрала лапы под себя, чуть приплясывая на месте. И зря, она могла сейчас спустить все обои вместе со штукатуркой, Дуня ее не видела.

Дуню несло, никогда с ней не было такого: «Вот это любовь», — подумала она: пылали щеки, уши, плавилось все под кожей нестерпимым огнем, и в то же время нещадно мерзли руки, ноги, сердце колотилось и что-то переворачивалось в голове.

Только через час Дуня догадалась поставить градусник. Было тридцать девять и пять. Начался бред. Безостановочные выдвигались и задвигались длинные каталожные ящики, вверху, внизу, справа, сбоку, до потолка, до бесконечности, и кто-то что-то говорил, и непонятно было, кто и что. Вязко, безобразно, страшно, ящик за ящиком, без системы, без смысла, и мозг все пытался понять и не мог.

Потом наступила ночь, темнота и жар, и пух, и багрянец. И пух почему-то не согревал, а набивался в рот, в нос и душил. А багрянец обжигал мертвым льдом, от которого, казалось, совсем отвалятся ставшие хрустальными пальцы рук и ног.

А потом приходил Чип, огромный и ласковый, как верблюжий плед. Он согревал озябшие пальцы, он влажно дышал прямо в нос Дуне, и пахло молоком, его надежный желтый не резал измученных глаз. И он не уходил, и Дуне стало легче. Она уснула.

Через неделю оправившаяся, но все еще бледная, истаявшая Дуня пробиралась потихоньку к знакомому переулку. Под мышкой тонкой рукой держала серый узелок. Сложить костюм в пакет она не могла, у мозга не было сил на такие сложные

операции. Выворачивая из-за угла, Дуня услышала дробный топот ног, которые теперь узнала бы из тысячи, хлопок двери, потом:

«Сто-ой! Не сме-ей!!!»

Дуня вздрогнула, подняла голову на слабой шее. И увидела, как Чип, встав на задние лапы и подняв передние со свисающей с локтей длинной шерстью, развернулся на носочках, как балерина экстра-класса, и чуть мазнув при повороте лапами незнакомую, но симпатичную гражданку, застывшую в полуметре от знакомой лужи, взвизгнул по-щенячьи и с места бросился к Дуне, так что под шерстью заходили лопатки. Боднул Дуню башкой, как сеткой с луком. Дуня закачалась, закачалась гражданка. Дуня схватилась за первое, что подвернулось под руки: развесистые коренастые уши Чипа. Гражданка протянула руки к ТеньТеничу, тот не пошевелился оцепенело, являя собой живое воплощение поговорки: один глаз на Кавказ, а второй — на Арзамас. Дуня устояла, гражданка повалилась. Брызги, грязь, крик. Дуня подошла, под руку ее надежно подпирал Чип, и только поэтому она не падала, колени дрожали.

— Поднимай, — сказала она Иннокентию Викентьевичу. Тот, виновато отводя глаза, выудил гражданку.

— Сушите меня, стирайте, чистите! — вопила гражданка.

Дуня смотрела на Иннокентия Викентьевича.

— Может, платочек? — спросил он. Светлый пух перестал летать у него над головой и пугово прижался к взмокшему лбу.

— Какой там платочек! — закричала гражданка. С нее капало. — Пошли к вам! Отмывать будете!

Иннокентий Викентьич виноватыми собачьими глазами посмотрел на Дуню.

— Пошли, — сказала Дуня безжалостно. — Слышал, что человек говорит?

Иннокентий Викентьевич, весь как-то сжавшись, побрел к подъезду. Гражданка, подобрав юбки, отплеываясь черными словами, пылая гневом, шла за ним.

— Достукался? — спросила Дуня Чипа. — С-сподвижник!

Чип ясным смеющимся взором встретил Дунин взгляд и высунул язык. Дуне очень хотелось гордо уйти, есть же у нее какая-то гордость, но чертов серый узелок под мышкой заставил ее подняться одышливо по лестнице и войти в знакомую ей открытую дверь. Слышен был звук льющейся в ванной воды. Иннокентий Викентьевич сидел на кухне, бессильно свесив руки между колен.

— А блинчики? — спросила Дуня, удивляясь своей жестокости.

— Да какие блинчики! — Иннокентий Викентьевич вскочил на ноги, схватил Дунины руки, прижал к сердцу. — Дуня! Дудоня моя! Ну, пойми, все это не так, как кажется. Все не так просто.

Дуня сочувственно кивнула.

— Я же объяснял тебе вчера... Нет, не вчера.

Нет, Дуня покрутила головой, не вчера.

— Я — холостяк.

Да, Дуня помнила.

— Ну, вот. Вот так я... А ты же не пришла...

— Я болела! Я умирала! — хотела крикнуть Дуня, но прошептала еле-еле, сдерживая трясушуюся губу.

— Бе-едная моя, — проблеял Иннокентий Викентьевич потрясенно и прижал Дунину пылающую голову к своей груди. Дуня закрыла глаза и хотела выдохнуть протяжно и облегченно, но тут пух полез ей в нос, стало страшно и душно, открылись-закрылись каталожные ящики. Дуня распахнула до предела глаза, и багрянец пупырчатой кожи на его горле резанул видением кошмара. Дуня отпрянула.

— Что, что? — забормотал Иннокентий Викентьевич, уже лирически настроенный. — Иди сюда.

Тут Дуня наконец выдернула из-под мышки помятый узелок, который гладила любовно утюгом все утро, предвкушая встречу.

— Возьмите! Вам понадобится еще! — и скорей отвернулась, чтоб не видеть, не чувствовать, пошла к выходу, сшибая углы, все стирая рукой с лица, с губ ощущение проклятого пуха.

— Да что ты такое говоришь! Дуня! — вскричал Иннокентий Викентьевич укоризненно и как нельзя более правдоподобно, но провожать не пошел. И послышалось ей уже в прихожей, а может, и правда, послышалось, что тихонько звякнула и зашипела поставленная на плиту сковорода. И вышла в открытую дверь.

В очередной раз шла она по улице, мимо бесконечно змеящихся серых зданий, блестящих чешуей окон. В зданиях не было ни одной двери, и в этом была странность. Но, вероятно, двери были с другой стороны, во дворах. Ладно, но не было дверей и во всех встречных магазинах, в машинах, в автобусах, полных людей. Закружилась голова. «Одна дверь только открыта для меня во всем мире, — горько подумала Дуня. — Моего дома, с кошкой».

Сзади послышался мягкий тяжелый топот, как кто-то грузный бежал в носках по тротуару. «Тень Тенич двинулся», — подумала Дуня, и усмехнулась, и порадовалась, что может еще усмехаться. Тут под локоть ей врезалась луковая башка. Распахнулись ей искрящиеся глаза, распахнулась розовая пасть.

— Явился, соратник? Что пришел?

Чип постучал хвостом об асфальт.

— Пособник!

Чип засунул нос ей в ладонь и горячо пыхнул.

— Иди-иди, сообщник!

Чип мотнул головой.

— Я к вам больше ни ногой! Понял?

Чип понял.

— Понял и уходи!

Дуня развернулась и пошла, загребая ногами. Чип шел следом, рядом, впереди. Как она его ни ругала, ни гнала, он не отставал. И в одном переулке, где никто не видел, она обняла его за шею и горячими слезами полила его луковую голову. Чип не утешал: не скулил, не лизал соленую щеку, не ластился. Но Дуне стало легче.

И дальше они пошли вместе. И тут открылась дверь, и еще одна дверь, и еще. Люди с чемоданами валили навстречу, белозубо улыбались и хмурились, отворачивались и задерживали взгляд, равнодушно скользили и приветливо махали. Дуня с Чипом стояли посреди вокзальной круговерти. Дуня вдохнула весенний ветер, положила руку на голову Чипу и пошла дальше.

НЕДАЛЕКО ОТ СТАРОГО ПАРКА

Я стою на витрине окружного военторга. Руки, ноги мои — идеальной формы, отлиты по заказу из пластмассы на местном заводе. На спине между лопатками чувствую штамп со знаком качества — устаревшая модель. Все в отличном состоянии, только слегка треснул отставленный мизинец на левой руке. Кто-то давно заматал трещину пластырем, да я уже так и привыкла. Не тревожит. По направлению увечного мизинца, в двух метрах от меня, застыл

навечно юноша-мотоциклист. Он здесь недавно, я еще к нему не привыкла. Близость молодого человека приятно волнует.

За стеклом витрины прямо напротив меня автобусная остановка, а через дорогу — старый госпиталь, с огромным нелепым крыльцом и облупившимися колоннами. С той стороны улицы всегда народ — солдатики с тощими шеями, генералы с женами. На них забавно смотреть, но мое стекло мутное, давно не мытое. Чтобы разглядеть что-нибудь через дорогу, приходится очень напрягать зрение, поэтому я почти не интересуюсь жизнью госпиталя.

Магазин наш встал в стороне от центра города, поэтому движение за окном не очень оживленное. Некоторых людей я уже запомнила и узнаю. Обычно они идут мимо, спешат, и редко кто обернет голову в мою сторону. Я не обижаюсь, мне так спокойней. Если на меня смотрят, я стесняюсь ценника, пристроченного к моему платью, и вообще мне кажется, это платье не подходит к моему парикю. Жарковато в парике, весна уже, весна...

Вот идет молодая мать с двумя мальчишатами, лет пять одному, второй чуть старше. Мама зашла в стеклянные двери, погрозила пацаньятам пальцем. А мальчишки прилипли глазами к мотоциклисту, не дышат. Младший расплющил о стекло нос и тихо урчит от удовольствия. Старший, белобрысый, в надвинутом капюшоне, что-то втолковывает брату. Братишка внимает с благоговением. Оба очень серьезные и совсем маленькие. Солнце отражается в фаре и сверкает в их глазах, блестит в луже, в которой они топчутся. Плохо видно, грязное пятно заслоняет от меня братьев, я пытаюсь подвинуться чуть вправо, но нет.

— Тетя Таня, тетя Таня, пора помыть витрины.

Ребятишек уже тянут за руки, они оборачиваются, несколько шагов пытаются идти задом наперед, пара звонких шлепков доносится сквозь толщу стекла. Я вздрагиваю, и несколько частичек краски, подсвеченные солнцем, летят на пол. Я вздыхаю, краем глаза смотрю на Мотоциклиста, он скрипит седлом и, строго сжав рот, крепко держит руль. Ему еще лестно внимание людей.

В правом верхнем углу, там, где тень от старого тополя легла на слой пыли, отражается часовой отдел. Часы с кукушкой видно всегда особенно четко, по ним я сверяю часы прохожие. Но сегодня, когда тень доползла до угла, этих часов я не увидела, продали или переставили.

Чуть согнув правую ногу и наклонив корпус, я вижу продавщицу Наталью. Всю свою жизнь она продает время и не удивляется этому. Обилие часов, показывающих разное время, приводит меня в ужас. Может, уже без четверти час, и он прошел мимо? Я опоздала. Нет, не может быть. Вон они — часы с кукушкой, их пакует Наталья в большую коробку, и крепкий толстячок подпрыгивает перед ней в нетерпении. Без двадцати на них, гора падает с плеч. Последний раз вижу я часы и кукушку, вот они скрылись за коричневой оберточной бумагой. Но сейчас мне не до них, скосив до невозможности глаза влево, я замираю. Сейчас он покажется из-за поворота, вот сейчас. Теперь меня раздражают все люди, появляющиеся оттуда. Нескладная девчонка с лохматым псом на поводке, ну, неужели вы не нашли другого места для прогулок. Вельможный господин с выбритым лицом и золотой цепью, ехали бы вы лучше на персональном автомобиле. Толпа студентов, весело возбужденная и гомонящая, катится мимо. Черноволосый парень на роли шута чертом выскакивает к самому стеклу, падает на колени и тянет ко мне руку: «Ах, какая женщина, — кричит он. — Мне б такую!» Толпа хохочет. «Вот дурак! Люди смотрят», — визжат девчонки. Он вскакивает, догоняет своих, оглядывается и посылает воздушный поцелуй: «Жди меня здесь, я вернусь». «Ну, ты, вообще, даешь, — веселятся парни. — Жди меня, и я вернусь, только очень жди...»

Господи, только бы он этого не видел, позорище какое. Да вот же он, следом за студентами пробежал, я не слышу больше криков, еще десять шагов мне его будет видно. три, четыре — сердце поднимается выше крыши госпиталя, пять, шесть — его волосы развеивает ветер. Какой он, ветер? семь, восемь — почему он сутулится сегодня? девять — не уходи, милый, десять — только звук шагов, тише, тише...

Мелодию его походки я знаю наизусть. Девятнадцать шагов, короткая песня. Сегодня — только припев. Все из-за этого шута. Пусть! Я не в обиде, может, сегодня он обратил на меня внимание. Некоторое время я потихоньку пою, чтобы не услышал Мотоциклист. Солнце до краев заполнило улицу, воробьи ныряют вниз к нагретому асфальту, выныривают глотнуть воздуха и снова ныряют, подкрепляясь иногда семечком или крошкой.

Подъезжают к остановке автобусы, люди входят и выходят. Сейчас все мне кажутся милыми, улыбочивыми. Старушка идет в сторону парка под руку со своим мужем. Счастливая. Глаза деда гордо сверкают через толстые очки, он очень бережно ведет свою спутницу. «Не оступись, Маша, ямка». А сам опирается на палку. Вот они перешли через дорогу. Плохо там видно, очень плохо.

Мне недавно привиделся сон. Правда, глаза я закрыть не могу, но в ночной тишине гляжу на светящееся окно. Долго гляжу и вижу сон. Мы с ним так же шли, взявшись за руки к парку, и ажурные прозрачные тени от листьев играли на его лице. Улыбка изгибала его мягкие губы, и он называл меня по имени. Как же он меня называл? Кажется, еще чуть-чуть, и я вспомню, и от этого все изменится. Вот-вот. Мысль натолкнулась на какой-то барьер и распалась в прах. Нужно вспомнить настроение сна и попытаться еще раз. Я честно старалась, но раздражало солнце, бившее в глаза, гудки машин, голоса людей. Ночью попробую, чтоб ничего не отвлекало.

Вышла из дверей тетя Таня с каким-то свертком и шваброй. Мыть окна, это великолепно. Боком толкнула сверток в урну, он не полез. «Эх», — поднажала, бумага лопнула с краю, стала видна рука куклы, странная какая-то гипсовая игрушка. Сломали, что ли, откуда у нас гипсовые игрушки?

Тетя Таня мыла стекло, шлепая шваброй перед моим носом. Тетя Таня — вы Бог, как мне все ясно, ярко видно. Спасибо вашим рукам-труженикам. И не ворчите вы, чего вы ругаетесь. Оглянитесь, какая красота кругом, а почки на деревьях набухли до предела, знака ждут. Тете Тане не до радости. О чем она там?

— Эх меня! Как же угораздило... вроде и не трогала... ну, надо же, елки-палки, не считаешься.

Плюнула, яростно тряпкой машет. Ой, куда вы, тетя Таня, не трогайте правый верхний угол, не надо, вы же никогда сюда не доставали. А как же часы увижу теперь, а как же он?

Светлый он, один такой. Как появится из-за угла, и солнца не надо. Прямой, как струнка, тонкий. Девятнадцать шагов я чувствую себя уверенной и защищенной. Все остальное время, кроме этих девятнадцати шагов, я беспомощна перед людьми. Меня отделяет лишь тонкое стекло, хочется закрыться, хоть рукой отгородиться от толпы, от глаз. Мне не дано и этого.

Вечер. Люди сменили одежды и лица на беззаботные выходные, не спеша направляются к парку — парами, группками, редко поодиночке. Над их головами деревья поддерживают тонкими ветвями красный шар солнца, кутают его в облака. Зябко еще, весна, не лето.

Слышна музыка, который вечер из парка звучат вальсы. Он, наверное, любит такую музыку. Раз-два-три, вальс, прекрасный танец. Я тоже могу танцевать, это

нетрудно, влево-вправо, влево-вправо, только потихоньку, чтобы не видел Мотоциклист. Он смотрит в другую сторону, на стайку девушек в длинных плащах. Румянцем блестит солнце на его щеках, вроде бы перебирает пальцами на рычаге сцепления. Мне жаль парня. Сейчас бы вылетел на дорогу, подкатил к девушкам, скинул шлем с красивой головы. Он очень красив, мой сосед. Бедный мальчик.

Он не привык еще.

Я уже давно... Хотя вчера мне показалось странное. Было как раз восемь шагов, я хорошо помню. В этот раз он шел близко к витрине, так как во весь тротуар растянулся взвод солдат. Как мне повезло... Он был так близко, я видела сверху его макушку, мне захотелось взьерошить ему волосы, дунуть в затылок. Мои губы сморщились, сдвинулись в бантик, мучительное желание обнять захлестнуло. Я очнулась, когда его не было видно, первый раз не сосчитала все шаги. Ломило правую руку, я взглянула — на сгибе локтя платье странно провисало. Трещина! До самого вечера я смотрела на это место то так, то эдак. То мне казалось, пустяки — игра света, то я захлебывалась горячей волной — точно трещина. Сегодня я привыкла и почувствовала некоторую свободу руки. Это было необычно приятно, но страшновато.

Ночью я вспомнила, как он называл меня во сне: «Родная моя». «Р» он произносил совсем не так, как все остальные люди: мягко и раскатисто. Каждое слово, казалось, обнимал, прежде чем выпустить на свет. Слова получались теплые, необыкновенно нежные. «Р-родная моя».

Запоздалая парочка, обнявшись, спешила от темноты парка к освещенным окнам госпиталя. На девчонке накинут китель.

— Смотри, как страшно, — восхитилась своим ужасом она. — Как люди стоят. Бр-р-р! Приснится еще сегодня.

И крепче прижалась к нему.

— Глупости, — утешил военный. — Вчерашний день. В Москве уже ни одного не осталось. Там витрины оформлены — закачаешься.

Они поднялись на крыльцо. Мне не стало их видно.

Мотоциклист вздохнул, он не умеет спать с открытыми глазами. Мне тоже не спалось.

Утро началось необычно. Солнце не встало. Морось забрызгала стекло, закрыв от меня остановку, дорогу и крыльцо госпиталя.

Магазин не открылся в девять. Раздражающе пахло хлоркой. Тетя Таня навесила на дверь табличку «Санитарный день». За спиной двигали столы, переговаривались, продавцы дразнили грузчиков, те вяло отшучивались. Звенели ведра, наливали воду. На улице не было видно ничего. Мелкие-мелкие капли превратили стекло в стену.

Заведующая загремела на грузчиков:

— Вчера вам сказано было, мотоцикл последний остался, завтра будут брать.

Снимите с витрины, подготовьте, как полагается.

— Да мы вчера...

— Вы! Знаю, что вы — водку жрать только можете.

И зацокала куда-то вглубь магазина.

— Зар-раза! Подумаешь! Ща уберем.

Мужики забрались в витрину, стащили Мотоциклиста с сиденья, осторожно усадили на пол, мотоцикл увезли.

— Ха, мужики, давайте его на трехколесный велик посадим. Хохма будет.

Заржали и водрузили парня на «Малыша». Я старалась не смотреть на это безобразие, мороз по коже продирает от стыда за Мотоциклиста. Хоть бы кто-нибудь помог. Люди! Помогите!

В мокром плаще ворвалась заведующая.

— Олухи! Вашу мать! Ставьте его прямо, шлем к черту, будут костюмы для новобрачных рекламировать.

Брызги летели с плаща во все стороны, и, наверное, с него попало несколько капель на бледное лицо Мотоциклиста, когда его снимали с трехколески и ставили на ноги.

— Тетя Таня, Наталья, идите сюда, возьмите белое платье, переоденьте ее, и фату.

— Сейчас, иду. С детства люблю кукол одевать.

— Быстрее, скоро обед, уже без пятнадцати час.

Час! Без пятнадцати! Время, господи, его время. Дождь, платье, что ж вы делаете со мной. Где ты, не вижу тебя?!

Дождь хлынул сильнее, смыл морось со стекла. И немного искаженное изображение — он бежит без зонта, поднимая одной рукой воротник, ловя губами капли.

— Просовывай руку, невестушка ты наша.

— Не толкайте, тетя Таня! Уроните!

Не хочу!!!

Мимо бежит, мимо!

— Не налезает платье-то. Раскорякой какой-то. Давай-давай, надевайся!

Не хочу!!!

Милый мой, не убегай!!

Правой свободной рукой толчок от плеча тети Тани.

Стремительно в лицо летит витрина.

— Ой! Падает!

Родной мой, родной!

Его лицо все ближе, ближе, грохот, звук треснувшего стекла, обвал осколков. Его удивленное лицо, его испуганные губы. Холодный воздух, странное ощущение дождя.

— Тетя Таня, вторую уронили!

— Батюшки, да что же это!

Родной мой! — зазвенело об асфальт.

